

Господа Головлевы

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвитьнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна, — говори! не виляй хвостом... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «переметной сумой» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно... — пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимирович дом-то в Москве продали... — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимирович кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не заметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опаматовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозowego молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что

мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума перемётная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и

бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью — пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолodu был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок.

Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни, успела удешевить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины

Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и *rique-assiette'a*

и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне,

отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «я зараньше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимыч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навыпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он

вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево.

После Степана Владимыча, старшим членом головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чайанье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна. — Да хорошо еще, что кругом наля-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой из всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков...»

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок»,

уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед затем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок-петушок!), которого и называли Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно, и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел-дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит, прикрикнет она на него, — или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте, различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, — уведомлял, например, Порфирий Владимирыч, — а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я»... и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: «Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям

выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и, что всего хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотнительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимырьч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбью, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест, в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих сеньях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимырьча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она, — недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! всё-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимырьча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», милости просим! Вот я тебе покажу, что значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок,

как Степке-балбесу — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

Арина Петровна сидела в спальней и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия — этого не мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес...» — рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: барину водки пожалуйста! — она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась, как помешанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказы, ни отказу нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

— Ну, а что же балбес делает? — спросила она.

— Москва велика — и в год ее всю не исходить!

— Да ведь, чай, пить, есть надо?

— Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак гривенничек выпросят.

— А кто позволил давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

— Вот я им ужо... подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину, и содержите его всем обществом на свой счет!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказал?

— Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

— То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище переметной суммы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить.

— Да еще какой прокурат! — наконец произносит он, — сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

— Говори, не мни!

— В немецкое, чу, собрание свез. Думал дурака найти в карты обыграть, ан, заместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег — все обрали!

— Чай, и бокам досталось?

— Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу, да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по головке погладили!

— Ништо ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

— А надо полагать, что так будет.

— Что ты! да я его на порог к себе не пущу!

— Не иначе, что так будет! — повторяет Антон Васильев, — и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: шабаш! говорит, пойду к старухе хлеб всухомятку есть! Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, кроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, покой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время „кусоч“? Она думала, что, получивши „что следует“, он канул в вечность — а он возрождается! Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. „Его“ не спрячешь под замок; „он“ способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь? — Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицемерия строптивых детей? Сказывают еще, что смиренный дом есть... да ведь смиренный дом — ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

— Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! — пригрозила она бурмистру, — не на вотчинный счет, а на собственный свой!

— За что так, сударыня?

— А за то, что не каркай. Кра! кра! «не иначе, что так будет»... пошел с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи наострил? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

— Вот я ему покажу ужо, какой для него у старухи хлеб припасен!

— Да что, сударыня, недолго он у вас наживет!

— А что такое?

— Да, кашляет очень сильно... за левую грудь все хватается... Не заживется!

— Эдакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет — что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась, и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой-где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на поворотке слезьте, да пешком, как есть в костюме — так и отъявитесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.

— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч, — много ли от поворотки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!

— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!

— Пожалеет! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти невымытый малый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с длинными, заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навывкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу; на ногах — стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навыпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей — рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошницею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду.

Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца, и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», а он все говорит.

— Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя, — рассказывает он, — пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куска-то хлеба, чай, как не найтись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

— У маменьки вашей много кусков!

— Только не про меня — так, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? Ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помочь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать — скверность!

- Да, уж с табачком, видно, проститься придется!
- Так я бурмистра за бока! может лысый черт и подарить барину!
- Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?
- Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!
- Вот и с водочкой тоже проститься придется!
- Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокроту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!
- Чай, очунели?
- Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей — ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула-таки в ту пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики — как только бог спас!
- А вот маменьке вашей так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велят. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыреста стоит.
- Да, брат, у нас мать — умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня, — а я ее уважаю! Умна, как черт, вот что главное! Кабы не она — что бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве — сто одна душа с половиной! А она — посмотри, какую чертову пропасть она накупила!
- Будут ваши братцы при капитале!
- Будут. Вот я так ни при чем останусь — это верно! Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особливо Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье и капитал из нее высосет — я на эти дела провидец! Вот Павел-брат — тот душа-человек! он мне табаку потихоньку пришлет — вот увидишь! Как приеду

в Головлево — сейчас ему цидулу: так и так, брат любезный, — успокой! Э-э-эх, эхма! вот кабы я богат был!

— Что ж бы вы сделали?

— Во-первых, сейчас бы тебя озолотил...

— Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

— Ну нет — это, брат, аттанде! — я бы тебя главнокомандующим надо всеми имениями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого — спасибо тебе! Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл — пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

— Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

— Во-вторых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске, ходил я к владычице молебен служить, так одну видел... ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте стояла!

— А может, она бы в штучки-то и не пошла?

— А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч — двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил — пять, бестия, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца — ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случилось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимыч вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и, по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

— Эхма! — говорит он, — уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна — да и шабаш! Что бы теперь, однако ж, какую бы штуkenцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного...

Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все

спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили.

«А что, если б всех этих мух к нему в хайло препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось!» — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.

— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда... и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай сюда! Спа-си, го-о-споди, люди твоя! — запеваёт он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко, — ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно... до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться... или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет! Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня!

Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.

— Важно! — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть-то даст ли? Обьедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и все на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь... А завтра — где ты, человек?

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромь! Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб!

А завтра — где ты, человек?

Он шарит крутом себя и ничего не нашаривает.

— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.

Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился vis-a-vis с барином.

— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.

— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?

— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!

— И то дело! где у тебя полштоф-то?

Выпивши, Степан Владимирович принимается за колбасу, которая оказывается твердою, как камень, соленою, как сама соль, и облеченною в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит он.

— Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: непременно напхни об белорыбице — и вот, словно грех случился!

— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал: англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест — и съел!

— Тсс... съел?

— Съел. Только тошнило его после! Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил — как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет.

— Выиграл?

— Нет, двух суток до году не дожил — околел! Да ты что ж сам-то! водочки бы долбанул?

— Сроду не пивал.

— Чаем одним наливаешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накапливает, а водка разбивает. Так, что ли?

— Не знаю; вы люди ученые, вам лучше знать.

— То-то. Мы как походом шли — с чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка — святое дело: отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали, так скоро, что я дней десять не мывшись был!

— Много вы, сударь, трудов приняли!

— Много не много, а попробуй попонтируй-ко по столбовой! Ну, да вперед-то идти все-таки нешто было: жертвуют, обедами кормят, вина вволю. А вот как назад идти — чествовать-то уж и перестали!

Головлев с усилием грызет колбасу и наконец прожевывает один кусок.

— Солоненька, брат, колбаса-то! — говорит он, — впрочем, я неприхотлив! Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет: щец тарелку да каши чашку — вот и всё!

— Бог милостив! Может, и пирожка в праздничек пожалует!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала — вот разве это? Ну, позовет играть, и напоит чайком. А уж насчет прочего — ау, брат!

На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимыч наконец убеждается, что самое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там, на столе, уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.

— Хлеб да соль, господа! — наконец, говорит он, — щи-то, кажется, жирные?

— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч, — да вы бы, сударь, и себе спросили!

— Нет, я только к слову, сыт я!

— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с нее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!

Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и

мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:

— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить!

Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика.

— Дрыхнет, каналья! — кричит он, — нам к спеху, а он приятные сны видит!

Так идет дело до станции, с которой дорога поворачивает на Головлево. Только тут Степан Владимирыч несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет его и паче всего убеждает бросить трубку.

— Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте! после найдете!

Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.

— Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча, — заест она меня!

— Бог милостив! вы тоже не слишним пугайтесь!

— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.

Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.

Иван Михайлыч некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку.

— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его, — давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как-нибудь ненароком!

Степан Владимырьч видимо колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помяни мое слово — заест!

Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уже далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца; трава блестит; воздух напоен запахами ели, грибов и ягод; дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимырьч ничего не замечает: все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии «Мишка-буян»), который тоже принадлежал к числу «постылых» и которого дедушка Петр Иваныч заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности», потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, — и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухой, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлево, он знает, что ожидает там его, и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может

добыть себе хлеба — он один
ничего не может.

Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: заест!

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая
головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимировича побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.

Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик-дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимировича. Через десять минут он был уже там.

Арина Петровна встретила его торжественно-строго и смирила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — съест! съест! съест!

— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его, и — захлопнулись.

Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду и, сверх того, по фунту Фалера в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил:

— Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!

Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполонил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?

Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищ деваает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации, — братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаречно, отца солеными полотками кормит... В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.

Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимыча.

— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он, — и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!

И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.

— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! — догадывался Яков-земский.

— Ну, уж там как хочешь разумеи, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник; к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане — что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.

— Что ж, это хоть сейчас сделать можно!

— То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.

Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Всё — либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на

«маменькином положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирович поголовно обложил данью в свою пользу, в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно, приносили остатки маменькинова обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наестся. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.

Еще при первом свидании, Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья. — Покуда — живи! — сказала она, — вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня от роду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!

И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по-видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку, и сколько именно.

«А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно, — Порфишка-кровопивец — тот не даст, а Павел... Скажу ему: дай, брат, служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»

Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него беспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.

«Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом, — нет, ведь, не околею! А может быть...»

Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, — он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.

— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару, — пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!

— Это как будет угодно маменьке, сударь.

— Эхма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем, — и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!

— А теперь и опять бы покушали?

— Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины, — ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?

— Печенка заказана, грибы в сметане, сочни...

— Ты бы хоть соченька мне прислал... постарайся, брат!

— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.

Все утро прождал Степан Владимирович, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных

сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальней.

Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы — архиерейским служением, мать — архиерейшею, а девок Польшку и Юльку — архиерейскими жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирович изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:

— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.

На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:

— Мытаря судить приехали?... вон, фарисеи... вон!

Тем не менее Порфирий Владимирович вышел из папенькиного кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирович, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.

— Не хорош он у вас, добрый друг маменька! ах, как не хорош! — воскликнул Порфирий Владимирович, бросаясь на грудь к матери.

— Разве очень сегодня слаб?

— Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!

— Ну, поскрипит еще!

— Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов зараз... право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания!

— Что ж, мой друг, и перенесешь, коли господу богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите — вот и выбрал меня он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна — целый-то день мается да всем тяготы носит.

— Да, мой друг! — сказала она после минутного молчания, — тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я детям на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душ! этакой-то машиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим — в лес норовит! Самый это народ... маловерный! Ну, а ты что? — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу, — в носу ковыряешь?

— Мне что ж! — огрызнулся Павел Владимирыч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.

— Как что! все же отец тебе — можно бы и пожалеть!

— Что ж — отец! Отец как отец... как всегда! Десять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!

— Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе! Вот Порфиша: и приласкался и пожалел — все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она — не мать, а враг тебе! Не укуси, сделай милость!

— Да что же я...

— Постой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и мать твою — и благо ти будет... стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?

Павел Владимирыч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.

— Вот видишь, ты и молчишь, — продолжала Арина Петровна, — стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж бог с тобой! Для радостного свидания, оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я... ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните — да поздно уж будет!

— Маменька! — вступился Порфирий Владимирыч, — оставьте эти черные мысли! оставьте!

— Умирать, мой друг, всем придется! — сентенциозно произнесла Арина Петровна, — не черные это мысли, а самые, можно сказать... божественные!

Хирею я, детушки, ах, как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось — слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это — и в ус мне не дуют! Я слово — они два! я слово — они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнут!

Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.

— Балбес-то ведь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирович не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.

— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: господи! да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет — ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?

Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «а-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком — ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась... а-а-ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.

— Нет, ты погоди головой-то вертеть, — сказала она, — ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он — на-тко! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку — не занадобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!

— Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! — начал было Порфирий Владимирыч, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться, — пусть попользуются достойные дети! Ведь он, шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то — на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!

— А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! — поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимирыч, словно опасаясь, чтоб маменька вновь не прервала его.

— И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать — душ с полтора ста набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ — их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебе мерещится, как бы так дельцо умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я не попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, тележку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошабочек запрягут — я и плетусь трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенника жаль, — на своих на двоих от Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, — да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать!

Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, кроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала! Прежде и галдели и горячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич, подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня, а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! — ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!

Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна, — нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний, трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!

Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет; Павел Владимирыч, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустил, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.

— Так вот я затем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна, — судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осудите — он будет виноват, меня осудите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.

Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.

— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям,

слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому, родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, велли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.

— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажите. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, черно, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!

— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!

— Хорошо. Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.

— Мне что ж! Разве вы меня слушаетесь? — заговорил Павел Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват... на куски рвать... в ступе истолочь... вперед известно... мне что ж!

Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.

— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его Арина Петровна, — ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь... ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после — да поздно будет!

— Я что ж! Я ничего!.. Я говорю: как хотите! что же тут... непочтительного? — спасовал Павел Владимыч.

— После, мой друг, после с тобой поговорим! Ты думаешь, что офицер, так и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчик, ах, как найдется! Так, значит, вы оба от судьбища отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мне что! По мне, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сын! (Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но, ради радостного свидания, воздержалась.) Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделию ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!

Хотя Порфирий Владимыч и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.

— Маменька! — воскликнул он, — вы больше, чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Веллли-ко-лепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!

— Это почему?

— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?

Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что, в то же время, существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.

— Понимаю я это, милый друг маменька...

— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стрбовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте вашей, ошибку сделали! Надо было тогда, как вы дом покупали, — тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!

— Что делать! не догадалась!

— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало, ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?

— Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню промотает!

— А промотает, так пусть на себя и пеняет!

— К вам же ведь он тогда придет!

— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!

— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!

— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все-таки и ее промотает, и опять придет к

ней, и что,
как мать,
она
не может

отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла.

А Порфирий Владимирыч смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.

— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ах! а что в Писании насчет терпенья-то сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении — вот как! Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так прикинем, и этак примерим, — а он там уж и решил: дай, мол, пошлю я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маменька, паинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивец только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась.

— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него, — мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?

— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.

— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну, да видно пожалеть обо мне некому. Молода была — крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы — ну и он будет жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?

— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?

— Черные ли, белые ли — подумать все-таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?

— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?

И Порфирий Владимирыч взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение.

— Закидывает! — откликнулось в душе ее.

— Я, маменька, бедному-то еще с большею радостью помогу! богатому что! Христос с ним! у богатого и своего довольно! А бедный — знаете ли, что Христос про бедного-то сказал!

Порфирий Владимирыч встал и поцеловал у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мне брату два фунта табаку подарить! — попросил он.

Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала: неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?

— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец, сказала она, — окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил-таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваячи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через красный двор к конторе. Порфиша беспрестанно снимал картуз и крестился: то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого? — вырвался из груди ее вопль.

Братцы уехали; головлевская усадьба запустела. С усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия; притихла

стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребах и т. д. Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахивают, ну, да уж пусть дворовые полакомятся, — говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.

Степан Владимыч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалась удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам, в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших красный двор (Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и. кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.

— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат, так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому, — а мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы! выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в поларшина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!

Иногда, впрочем, и печалился.

— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Корявые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние — в застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запаса пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!

Уверенность Арины Петровны, что с Степки-балбеса какую-угодно бумагу без труда стрбовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:

— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отказные всё — чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!

С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтоб не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимирыч сопровождал свой дар следующими словами:

— Маслица в лампадку занадобится или богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живи-ко, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!

— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимирыч, — только вот солониной протухлой кормит!

— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именице-то спустил! А именице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именице! Вот кабы ты повел себя скромненько да

ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Так ли, брат, я говорю?

Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно, она не воздержалась бы, чтоб не сказать: ну, затарантила таранта! Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.

Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.

— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он, — табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина не доставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то я огурцов не досчитываюсь, — ан вот оно что!

Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимой. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.

Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени, и даже признавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что

оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, — и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб! Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, — их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, — это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна, по-прежнему, не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно,

Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.

— Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, — сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратнo каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась — и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась, — даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь

форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди, нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.

Утром, он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, как окно, окно, окно... Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не

заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что наконец для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное. Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимырьч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много если она отвечала на них стереотипною фразой:

— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!

Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимырьч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, — это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.

— Это что? — спросила она, как бы не понимая.

— Стало быть... занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.

— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.

Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля — все стояло черное, размокшее,

невылазное. Как он прошел? куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаяючи шел дождь.

— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.

Весь день, пока люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел, — и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила! А другой бы промотал — ну, и не погневайся, батюшка! Бог — и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — легко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на-тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!

Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.

Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся. По обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимыч проснулся,

она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.

— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она, — знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал, — каково бы ему было при его-то положении?

Но Степан Владимирыч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.

— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, — хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то... ах, дурачок, дурачок!

То же молчание, и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.

— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то божью в этакую мокреть ехать охоты нет!

Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, не достало, или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимирыч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слышал.

С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова.

По-видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу.

— Целый день молчит! — говорила она, — ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, куда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!

Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир...

В декабре того же года Порфирий Владимирович получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:

«Вчера утром постигло нас новое, ниспосланное от господ испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.

Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.

Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне. Сорокоусты же и поминовения и поднесы совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»

Нахлебника.

Известный в то время табачный фабрикант, конкурировавший с Жуковым.

(Прим.

М

. Е. Салтыкова-Щедрина.)